

С.А. Тепляков

СМЫСЛ ЖИЗНИ

<http://www.museum.ru/1812/Library/Teplyakov5/index.html>

<http://www.museum.ru/1812/index.html>



1.

Дворяне в России, вопреки распространенному ныне заблуждению, имели не только права, но и обязанности, главной из которых была служба. До 1762 года она была 25-летней и обязательной для всех дворян. Петр Третий указом «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» отменил срок и обязательность, а Екатерина, свергнув Петра, в своей «Жалованной грамоте дворянству» от 21 апреля 1785 подтвердила эти, крайне важные для благородного сословия, пункты. Нетрудно понять источники нелюбви дворян к Павлу Первому, который вновь сделал службу обязательной. Показательно, что первыми словами Александра при воцарении были «при мне все будет как при бабушке» – и все отлично поняли, о чем идет речь.

При Александре и правда все стало как при бабушке: дворян опять записывали в полк с рождения, дворянин мог уйти в отставку по достижении первого офицерского чина, а мог выхлопотать себе отпуск, тянувшийся иногда несколько лет. Некоторые так и делали. Однако служба, особенно военная, была заманчива: она давала возможность возвыситься и этим поправить дела, на что при гражданской службе шансов было крайне мало, а при обычной жизни помещика шансов – и вовсе ни одного.

В военной службе было много сторон привлекательности. Чины и ордена давали право на личное или потомственное дворянство. Награда могла быть и в виде пожалованных денег, земли, деревень. К тому же, на войне не надо сажать дерево, строить дом и растить сыновей – на войне достаточно просто быть. Армия была единственной лестницей, где можно было перепрыгнуть через ступеньки. А расшибешься – значит, такая судьба: похоронят, оплачут, вдова снова выйдет замуж – все в порядке вещей. Война все упрощает и одновременно все возвышает – этим она и всегда была привлекательнее мира.

2.

Человек того времени повиновался не столько собственным желаниям, сколько требованиям Совести и Долга. Внутри тогдашнего человека был Бог, снаружи – понятия Чести. За нарушение законов Божьих и Человеческих виновного ожидала гражданская смерть: лишение прав его сословия и изгнание из него.

Гражданская смерть была известна еще древним германцам: человек, осужденный на нее, становился живым трупом – он не имел прав человека, каждый мог убить его, не понеся никакого наказания. Нетрудно понять, что гражданская смерть была для человека скорее всего страшнее обычной. Потерять честь для человека наполеоновских времен было страшнее смерти – ибо обесчещенный вычеркивался из истории, а погибший оставался в ней навсегда.

Шаги, сломанные над головами декабристов, были знаком гражданской казни. Срывая с них эполеты и ордена, Николай Первый перечеркивал, вымарывал из истории всю их прежнюю жизнь. (В 1842 году император предложил рожденных в ссылке и на каторге декабристских детей отдавать в учебные заведения – условием была перемена фамилии. Дочь Никиты Муравьева была записана Никитиной. Царь, видимо, хотел подчеркнуть: кончились Трубецкие, Волконские, Муравьевы). Декабристы становились бывшими людьми, прокаженными – еще и поэтому так велик был для тогдашнего общества подвиг Марии Волконской и других жен-декабристок: они не в Сибирь отправились к своим мужьям, а живыми спустились в ад, в царство теней. Именно эта сторона истории, а вовсе не географические соображения, приводили в трепет родственников и свет.

(Если человеку того времени приходилось выбирать между нарушением требований чести и должностным проступком, он выбирал последнее. Гиляровский приводит такой эпизод: 24 сентября 1826 года в Московском английском клубе официант на столе обнаружил анонимное письмо, адресованное полковнику жандармов Ивану Бибикову, также члену клуба. Как раз шло следствие по делу декабристов –

все понимали, что содержание письма может стоить кому-нибудь свободы или даже жизни. Старшины предложили Бибикову письмо взять. Бибиков отказался – он понимал, что после этого не сможет оставаться в клубе. Письмо по решению старшин клуба было сожжено).

Третьим, кроме Бога и Чести, винтом, скреплявшим тогдашнее общество, была Присяга. При восшествии на престол нового монарха к присяге приводили нацию. (Николай Греч пишет, что после казни в Париже Людовика Шестнадцатого в России отыскивали французских подданных и приводили к присяге Людовику Семнадцатому). Те, кто считают, что во времена Павла Первого и Александра Первого в России присягали «царю и Отечеству», заблуждаются: присягали только царю. Нарушение присяги – клятвопреступление – было в православии одним из смертных грехов: то есть, наказание за него грешник будет нести и после смерти. Освободить от присяги могло либо специальное решение монарха, либо его смерть.

Восстание декабристов произошло именно в декабре 1825 года только потому, что на тот момент в результате коллизии (Александр умер, а законный наследник престола Константин, которому уже присягнули войска и чиновники, отрекся) большое количество людей оказалось свободны от присяги, они были вольны поступать как хотели и совесть при этом у них оставалась чиста. (Никого из декабристов не судили за клятвопреступление). Известно, что Николай Первый, до которого дошли слухи о готовящемся выступлении, приказал срочно приводить к присяге всех в Петербурге. Чиновников вытаскивали из постелей и привозили во дворец. Успела присягнуть и большая часть войск. На Сенатской площади верные царю войска разными путями высказывали сочувствие мятежникам. Но перейти на их сторону не решился никто. (Зато несколько солдат и моряков Гвардейского морского экипажа вышли из строя восставших и вернулись в казармы, за что потом были награждены).

Как, видимо, всегда в России, случались казусы: граф Александр Рибопьер (сидевший при Павле в крепости, при Александре создавший Государственный коммерческий банк, при Николае Первом добившийся, чтобы Турция признала Грецию и отдала Сербии захваченные у нее земли) в своих мемуарах писал о том, что он, пожалованный офицером еще при Екатерине, а заканчивавший служить при Александре Втором, присягал за 57 лет службы только один раз, да и то царю, который не царствовал – Константину. Все остальное время служил так – Верой и Правдой. Возможно, Рибопьер на российских просторах был не одинок.

В августе 1813 года Александр Первый специальным манифестом простил всех: и крестьян западных губерний, восставших против своих помещиков, и московский магистрат во главе с купцом Петром Находкиным, и многих других, кто «от страха и угроз неприятельских, иные от соблазна и обольщений, иные же от развратных нравов и худости сердца, забыв священный долг любви к Отечеству и вообще к добродетели, пристали к неправой, Богу и людям ненавистой стороне злонамеренного врага». Кроме прощения, велено было вернуть коллаборационистам все имущество, «словом, поставить их в то состояние, в каком они находились прежде, до впадения в вину». На всю Российскую Империю был, видимо, один человек, на которого не распространилось всеобщее прощение, и вина его состояла именно в нарушении присяги.

Архиепископ Могилевский Варлаам (Григорий Шишацкий), почему-то не покинувший города при вступлении в него 8 июля неприятеля, получил 13 июля от французов указание привести к присяге духовенство епархии и упоминать Наполеона при богослужении. В Москве на подобное предложение священники отвечали отказом. Варлаам же созвал консисторию и, несмотря на возражения некоторых ее членов, принял решение – присягнуть. Любовь Мельникова в своей книге «Армия и Православная церковь Российской империи во время наполеоновских войн» пишет: «На следующий день, 14 июля, в Иосифском соборе Варлаам и городское духовенство приняли присягу французскому императору, а затем архиепископ отслужил литургию и молебен с упоминанием Наполеона. После этого консистория отправила предписание о принесении присяги во все духовные правления Могилевской епархии». Несколько позже Могилевская духовная консистория обратилась к крестьянам губернии с призывом повиноваться французам. 3 и 13 августа были отпразднованы дни рождения Наполеона и Марии-Луизы, в честь чего в Иосифском соборе Могилева прошли службы и были прочитаны в честь Наполеона проповеди. Возможно, Варлаам рассуждал, что «всякая власть от Бога»? Однако когда по возвращении русских по его делу проводилось следствие, он к этому доводу не прибегал: говорил, что решение о принятии присяги Наполеону было принято им исключительно для того, чтобы уберечь его епархию от разорения. Варлаама из архиепископов «разжаловали» в монахи и сослали в монастырь на Север России, где он умер в 1823 году. Остальные присягнувшие Наполеону священники отделались несравнимо легче: «им было всего лишь предписано шесть воскресений после Божественной литургии при собрании народа полагать перед местными святыми иконами по 50 земных поклонов».

Каждая клятва верности имела время и место действия, и вполне объяснимо, что слово «предатель» в те времена употреблялось крайне редко. Таковыми могли считаться разве что французские эмигранты или служившие в русской армии подданные государств, союзничавших с Францией или находившихся от нее в какой-либо форме зависимости. Осенью 1812 года в Москве французы взяли в плен барона Фердинанда Винценгероде, командира одного из русских партизанских отрядов. Винценгероде, узнав, что французы намерены взорвать Кремль, поехал в Москву, чтобы как-то этому помешать. Однако при этом барон либо что-то упустил в парламентарской процедуре (пишут, что он не взял с собой трубача), либо не являлся парламентаром вовсе (согласно Коленкуру, Винценгероде в солдатской шинели пытался «распропагандировать» французских солдат).

Так или иначе, французы схватили барона и сочли его пленным. Когда Винценгероде привели к Наполеону, тот пригрозил пленнику смертью, считая барона своим подданным. Винценгероде отвечал, что давно готов к этому («Я служил всегда тем государям, которые объявлялись вашими врагами, и везде искал французских пуль!») и добавил, что царь Александр не оставит его семью. Храброму барону повезло: или ответ понравился императору, или заботы отступления отвлекли его, но сразу Винценгероде не расстреляли, а потом он был освобожден партизанами отряда графа Чернышева. В эпоху же побед, Наполеон был совсем снисходителен: когда генерал Вимпфен, немец на русской службе, юридически являвшийся подданным Наполеона, был взят в плен и ожидал, что его расстреляют, Наполеон просто выпил с Вимпфеном вина.

Может, Наполеон вспомнил, как в 1788 году, будучи поручиком, сам пытался поступить на русскую службу? За месяц до прошения Наполеона о принятии в Русскую армию был издан указ о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не согласился. Руководившему набором волонтеров для участия в войне с Турцией генерал-поручику Заборовскому будущий император сказал: «Мне король Пруссии даст чин капитана!». Заборовский, в 1812 году ставший одним из московских беженцев, горько калялся в этом отказе. Да и король Пруссии через двадцать лет, надо полагать, готов был дать Бонапарту не только капитанский чин.

4

Тогдашний военный мир был даже более интернационален, чем штатский. В армии Суворова во время Швейцарского похода главой «русской партии» был генерал Отто Вильгельм Христофор фон Дерфельден, выходец из Эстляндии, которая отошла России только в 1710 году, а до этого была шведской территорией. Дерфельден служил в российской армии с 19 лет. Именно он на военном совете в Мутентале, после того, как Суворов рассказал о губительной для армии ситуации, от имени армии ответил: «Веди нас, с нами Бог, мы – русские». Европа тогда имела куда более причудливый в сравнении с теперешним вид: Ганновер, например, (территория нынешней ФРГ) был английским, а Померания – шведской. Из-за этого уроженца Ганновера русского генерала Леонтия Беннигсена (Теофила Августа), которого считали немцем, правильнее считать англичанином.

А прусский фельдмаршал Блюхер был родом из Померании, и службу свою начал в шведской армии, в рядах которой принял участие в Семилетней войне. Именно к пруссакам он, 16-летний офицер, попал в плен, и через два года записался в прусскую службу (это было делом обычным для пленных), определив этим, возможно, не только свою судьбу, но и судьбу Европы – все же именно благодаря упорству, если не упертости, Блюхера, пруссаки пришли на поле Ватерлоо. Да еще ведь короли и императоры «дружили» то с теми против этих, то с этими – против тех. Из-за этого у их подданных были порой весьма причудливые послужные списки.

Например, Фаддей Булгарин, по происхождению поляк (Ян Тадеуш), известный по советским учебникам литературы враждой с Пушкиным, был в наполеоновскую эпоху офицером: сначала – в русской армии, потом – во французской. Как русский офицер, он участвовал в Прусской кампании (за Фридлянд получил орден св. Анны третьей степени), и в войне со Швецией в 1808-1809 годах. Потом перешел на французскую службу (после Тильзита Россия стала союзницей Франции) и в составе Польского легиона воевал в Испании. Затем проделал поход в Россию и только в 1814 году в Пруссии закончил свой боевой путь, попав в плен. Зная это, легко понять, почему в своих военных мемуарах Булгарин пишет об Испании только с позиций высокой политики, а о походе в Россию не упоминает вовсе – не писать же ему, как он, русский журналист, штурмовал батарею Раевского и рубил солдат Лихачева. Французская карьера Булгарина удалась лучше русской: если в армии Александра он дослужился до подпоручика, то в армии Наполеона стал капитаном и кавалером ордена Почетного легиона.

(Пушкиноведа едва ли не каждое слово Булгарина о Пушкине, даже то, что можно посчитать комплиментом, оценивали как донос. Забавно, что доносами считают опубликованные в журнале статьи Булгарина о «Евгении Онегине». Не проще ли и не вернее ли писать донос настоящий – тайком, о котором и не узнает никто – чем вот так, публично? И если публично – так, видимо, это уже и не донос? В вину

Булгарину ставят строки о Пушкине «бросает рифмами во всё священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан». Но они, во-первых, во многом правда: достаточно прочитать, например, написанное Пушкиным после подавления Николаем Первым польского восстания очень даже верноподданное стихотворение «Клеветникам России», за которое Пушкину выговаривали даже близкие друзья. Во-вторых, много написано и о том, как Пушкин стремился к придворному званию и досадовал, когда стал всего лишь камер-юнкером. При этом, надо еще помнить, что Булгарин был старый солдат, а Пушкин со своим окружением были для него не нюхавшие пороху штафирки. Уже этим они не могли вызывать у Булгарина ничего, кроме насмешки и презрения. Когда друг Пушкина барон Дельвиг вызвал Булгарина на дуэль, тот распорядился ответить: «Передайте господину барону, что я видел больше крови, чем он – чернил!». И дуэль не состоялась).

Поляк Юзеф Понятовский служил сначала в рядах австрийской армии, потом – в прусской, и имел даже прусский орден, с которым он в 1806 году поехал на встречу с Наполеоном, чем вызвал неудовольствие императора, как раз накануне разгромившего пруссаков. Как известно, затем Понятовский служил Наполеону до самой своей смерти в водах реки Эльстер. А еще во французской армии служил ирландец Макдональд, а среди генералов был даже некто Андоленко – француз русского происхождения.

Удивительнее всех сложился боевой путь австрийского князя Карла Филиппа цу Шварценберга: начав воевать с французами с 1790-х годов, он после Тильзита стал послом Австрии в Петербурге. Но после того, как разгромленная под Ваграмом Австрия попала в сферу влияния Наполеона и даже отдала ему в жены свою эрцгерцогиню, Шварценберг стал австрийским послом в Париже, а в 1812 году, командуя австрийским корпусом в составе Великой Армии, вместе с ней вторгся в Россию. За бой с армией Тормасова при Городечно он по ходатайству самого Наполеона получил от императора Франца I маршальский жезл. Однако уже в 1813 года, после того, как Австрия примкнула к антифранцузской коалиции, Шварценберг стал главнокомандующим всеми союзными войсками. За битву под Лейпцигом Шварценберг был награжден русским орденом св. Георгия первой степени. В общем, этот замечательный человек успел повоевать за всех и даже получить высшие награды от главных противников эпохи.

Однако Наполеон поневоле делал людей принципиальными. Сказанные бароном Винценгероде Наполеону слова («Я служил всегда тем государям, которые объявлялись вашими врагами, и везде искал французских пуль!») мог произнести упомянутый Клаузевицем в книге «1812 год» Лео фон Люцов, младший брат известного партизанского вождя пруссаков. Лео служил до 1806 года в прусской гвардейской пехоте, в 1809 году перешел на службу в австрийскую армию, после разгрома которой отправился в Испанию, но там попал после капитуляции Валенсии в плен и был отправлен в Южную Францию, откуда бежал и через всю Европу пришел в Россию, где вступил в русскую армию и был принят в генеральный штаб в чине подполковника.

«Я не знаю другого немецкого офицера, который участвовал бы во всех трех войнах – австрийцев, испанцев и русских – против Франции», – заключает Клаузевиц. Биться с Наполеоном – вот что тогда было главным для огромного количества людей. И не важно под чьими знаменами: после оставления Москвы многие русские офицеры, полагая, что дело кончится новым Тильзитом, говорили о желании записаться в испанскую армию, чтобы там воевать с французами.

Общеизвестно, что и сам Наполеон в общем-то не был французом – Корсика только в 1768 году, за год до его рождения перешла к Франции, а до этого больше 400 лет принадлежала Генуе. Кем считать Наполеона, если к тому же верить, что его предки приехали на Корсику из Греции? (Наполеон соотносился с Францией примерно так же, как Сталин – с Россией). Кем считал себя сам Наполеон – французом, итальянцем или корсиканцем – неизвестно по той простой причине, что для него самого этот вопрос не существовал: он служил себе, он был сам себе мир.

Армия двенадцати языков – так называли армию Наполеона. По одним данным, в составе Великой Армии в Русском походе «не французов» было около половины, по другим – четверть. При этом, хотя расы и нации были перемешаны, но, по свидетельству современников, армия не переплавилась в единый организм. Немецкие и австрийские корпуса все меньше понимали, почему они должны воевать за Наполеона, который до этого не раз становился их противником. Неспроста австрийский корпус Шварценберга в Белоруссии и немцы Йорка в Риге почти не доставляли проблем своим русским противникам. Испанцы сдавались при первой возможности (их, в уважение к борьбе испанцев против Наполеона, велено было содержать лучше других пленных).

При этом, в русской армии языков было не меньше. Например, среди командиров всех уровней было огромное количество разных немцев, в основном – пруссаков, перешедших на русскую службу после разгрома Пруссии в 1806 году, чтобы продолжать борьбу с Наполеоном. В русской армии служил, например, будущий военный теоретик Карл Клаузевиц. Правда, тогда он был еще практик: благодаря его талантам

переговорщика противостоявший русским под Ригой корпус генерала Йорка принял нейтралитет и вышел из войны. (В то же самое время два брата Клаузевица служили под французскими знаменами в корпусе Йорка: «мысль о том, что здесь, может быть, придется увидеть брата взятым в плен, была для меня гораздо мучительнее, чем представление о том, что придется сражаться друг против друга в течение нескольких дней...» – писал Клаузевиц).

Немцев было столько, что часто они даже не считали нужным осваивать русский язык. Так, военный советник Александра I генерал Карл Людвиг Август Фуль за шесть лет службы не выучил русского языка, тогда как его денщик Федор Владыко хорошо говорил по-немецки, хотя и плохо писал на родном языке. (Впрочем, не всякий русский знал свой язык – будущий декабрист Сергей Муравьев-Апостол в детстве жил в Гамбурге и Париже, на русском впервые заговорил в 13 лет, а в 1812 году было ему шестнадцать. Даже много позже, уже после восстания декабристов, попав в крепость, он, по приведенному Натаном Эйдельманом свидетельству Александра Одоевского, не мог перестукиваться с соседними камерами «по одной простой причине: не знал русского алфавита»).

Языком русского штаба был французский: как иначе поняли бы друг друга грузин Багратион, родившийся в Риге шотландец Барклай, ганноверский немец Беннигсен, ирландец Иосиф О'Рурк из армии Чичагова, француз Сен-При, серб Милорадович и крещеный турок Александр Кутайсов?

А еще в русской армии были башкиры, калмыки (у них на знамени были изречения на тибетском языке и дева-ангел Окон-Тенгри с младенцем в зубах на лошади, взнузданной змеями). Денис Давыдов писал, что при начале партизанской войны крестьяне как-то раз убили отряд из шестидесяти казаков-тептярей (тептяри – татары, жившие в то время на территории нынешней Башкирии), приняв их за солдат наполеоновской армии «от нечистого произношения ими русского языка».

Впрочем, смешение наций было обычным делом в те времена: испанскими дивизиями, действия которых 23 июля 1808 года принудили к сдаче отряд Дюпона под Байленом, командовали швейцарец Теодор Рединг и даже (!) французский маркиз де Купиньи. При этом, швейцарцы были и в армии Дюпона, и во время байленских боев одни перешли на сторону испанцев, а другие остались с Дюпоном до конца. Правда, капитуляцию Дюпона принимал генерал Костаньос, испанец, который и получил титул герцога Байленского.

Интересно, что многие поляки, попавшие в русский плен в 1812 году, потом перешли на русскую службу – их определили в казачьи войска. Примечательно, что в срок службы им было посчитано пребывание в Великой Армии – так что уже скоро они начали выходить в отставку.

5.

В те времена у человека была одна цель: прожить жизнь не зря. Причем, это «не зря» крайне редко было материальным – немалое количество людей уже по рождению имело и деньги, и титулы. Вот как командовавший в 1812 году сводно-гренадерской дивизией граф Михаил Воронцов, наследник громадного состояния, родившийся в Англии, сразу же записанный в полк и к 19-ти годам уже имевший чин камергера (полковника). Впрочем, чин этот не значил ничего: службу в армии Воронцов начал в 1801 году поручиком.

Ему, как и многим подобным богачам, не для чего было жить кроме славы. Поэт Петр Вяземский записал: «Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына». Война была прямой и самой короткой дорогой к славе, поэтому мужчины бежали в армию чуть не наперегонки. «Я только что узнал с невыразимым наслаждением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая война, которая так превознесет славу Франции», – записал весной 1812 года французский офицер Фонтен дез Одоар.

Наполеон своей судьбой раздвинул пределы достижимого так, что те, кто прежде надеялся к старости выслужить чин полковника, при нем совершенно потеряли голову от открывшегося горизонта. В «Войне и мире» старый граф Ростов, когда его сын Николай заявляет, что хочет идти в гусары, говорит: «Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры».

Альфред де Мюссе, родившийся на излете эпохи, написал об этом так: «Один только человек жил тогда в Европе полной жизнью. Остальные стремились наполнить свои легкие тем воздухом, которым дышал он. (...) Никогда еще люди не проводили столько бессонных ночей, как во времена владычества этого человека. Никогда еще такие толпы безутешных матерей не стояли у крепостных стен. Никогда такое глубокое молчание не царилло вокруг тех, кто говорил о смерти. И вместе с тем никогда еще не было столько радости, столько жизни, столько воинственной готовности во всех сердцах. (...) Они хорошо знали, что обречены на заклание, но Мюрата они считали неуязвимым, а император на глазах у всех перешел через мост, где свистело столько пуль, что, казалось, он не может умереть. Да если бы и пришлось умереть? Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так прекрасна, так величественна, так великолепна! Она так походила на надежду, побеги, которые она косила, были так зелены, что она как будто помолодела,

и никто больше не верил в старость. Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было, были только трупы или полубоги».

Это была битва нового Голиафа с бесчисленным количеством Давидов, каждый из которых мечтал поразить его, чтобы, может быть, самому стать хоть немного Голиафом. Великий противник делал и их, Давидов, немного больше. За это каждый Давид был благодарен Голиафу. Бесчисленные Давиды не могли собраться духом, чтобы победить именно потому, что без Голиафа они становились никем.

Они влюблялись в войну, как в прекраснейшую из женщин, и это почти всегда была любовь с первого взгляда. Для Вольдемара Левенштерна, который в 1812 году был майором и адъютантом Баркляя-де-Толли, история этой странной для нынешнего человека любви началась в 1790 году, когда он, 12-летний мальчик, увидел морской бой между русскими флотом и шведами неподалеку от Ревеля. «Шведские ядра долетали до нас; свист, который они производили, пролетая над нашей головой, приводил меня в восторг; некоторые ядра попали в стену этой старой деревянной батареи, и я заметил, что окружающие нимало не разделяли мое радостное настроение; некоторые старые воины даже побледнели. Их ужас и еще более величественная картина сражения произвели на меня глубокое впечатление; с тех пор я только и мечтал о сражениях и ничего так не желал, как еще раз быть свидетелем битвы», – вспоминал, повзрослев, Левенштерн.

Они любили войну еще и за то, что она все расставляла по своим местам и показывала каждому его истинный вес. Генерал Эммануэль накануне Отечественной войны сказал Денису Давыдову: «нам нужна война, нам нужна война, мой любезный Денис: в мирное время, посмотри, и Витт становится колоссальным».

Их «сказками на ночь» были воспоминания ветеранов. Детские глаза смотрели на стариковские увечья, как на ордена. Один из русских офицеров 1812 года вспоминал своего дядю, поручика Алтухова «без правого глаза от пули с проткнутым скулом той же стороны и без левого уха, сдернутого картечью». Этот изувеченный, ничего не выслуживший человек, считал, тем не менее, что прожил славную жизнь – ведь всю ее он отдал Отечеству!

Люди того времени легко относились к войне, возможно, еще и потому, что попадали на нее еще детьми. То, что должно быть ужасно, было для них обычно с детства. Князь Петр Багратион впервые попал на войну в 17 лет. Тогда же в одном из боев он был ранен и попал в плен, но горцы вернули его в знак уважения к его отцу. В 1787 году на одну из бесчисленных русско-турецких войн приехал 16-летний Николай Раевский, будущий герой войны 1812 года. После этого неудивительно, что в Отечественной войне при нем были сыновья – 17-летний Александр и Николай, которому и вовсе было 11 годков. Под Салтановкой, когда измученные за десять часов боя войска стали сдавать, Раевский пошел вперед с сыновьями. «Меньшого, Николая, он вел за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее подле убитого в одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, понес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до иступления одушевил войска», – писал внук Раевского Николай Орлов, чьи воспоминания были потом опубликованы в журнале «Русская старина».

Сам Раевский потом, когда его стали допекать воспоминаниями о Салтановке, говорил, что все это придумал бывший при войсках поэт Василий Жуковский. Поэту Батюшкову Раевский говорил: «Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны); вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге». Однако послужные списки показывают, что Александр в бою под Салтановкой был, да и про ягоду Раевский рассказывает зря: младший, 11-летний Николай, после Салтановки был произведен в подпоручики – не за землянику же. Сам Раевский-старший писал знакомой сразу после сражения без шуток, но с гордостью: «Сын мой, Александр, выказал себя молодцом, а Николай даже во время самого сильного огня беспрестанно шутил; этому пуля прорвала брюки; оба сына повышены чином».

Сын императора Павла Первого Константин, наследник престола, в 20 лет проделал вместе с Суворовым Итальянский и Швейцарский походы. Если царь отдает войне своего сына, то смели ли его подданные держать их дома?

Надо понимать еще вот что: у всех этих людей, у всех красавцев-гусар, пленительных корнетов, графов и князей руки были по локоть в крови. Война была контактная – на выстрел надеялись мало – в основном на удар саблей или палашом. Противники бились глаза в глаза. Казалось бы, очень скоро, едва ли не сразу, человек должен был сойти с ума – однако не сходил. Причина была проста: разрушительные для душевного здоровья мысли о ценности человеческой жизни, о том, что каждый человек – целая Вселенная, и т.п., еще не родились. Зато было множество героических легенд. Говорили, например, что Карл XII, впервые оказавшись на поле боя и услышав вокруг себя странный свист, спросил: «Что это?». «Это пули, государь!»

– отвечали ему. «Теперь это будет моя любимая музыка!» – заявил Карл. Рассказывали, что под Тулоном, когда Жюно под диктовку Наполеона писал какой-то приказ, рядом рухнуло ядро, засыпав всех землей. «Ну вот, – заявил, отряхнувшись, Жюно, – нам не придется посыпать чернила песком!». При Прейсиш-Эйлау командир французской кавалерии генерал Лепик, выехав вперед, увидел, что его солдаты пригибаются под русским огнем. «Выше головы, ребята! Это только пули – не гавно!» – закричал Лепик.

При этом удивительным образом они не ожесточались. Неспроста в мемуарах почти всегда пишется «неприятель», и почти никогда вы не встретите слово «враг». При малейшей возможности человеческое в человеке брало верх. Фаддей Булгарин писал в воспоминаниях о кампании 1808 года в Финляндии: «(...) Шведскою кавалерией, т.е. саволакскими драгунами, командовал капитан Фукс, человек лет за сорок, храбрый воин, веселый и откровенный. Он подружился с Кульневым, и часто приезжал к нему на аванпосты. Неустрашимый, неутомимый Кульнев был по душе Фукусу, и если он мог достать курительного табаку, рому или другого аванпостного лакомства, то или присылал Кульневу через своего драгуна, или сам привозил на наши пикеты. (...) Наши казаки, гродненские гусары и уланы так свыклись с саволакскими драгунами, что в авангарде вовсе с ними не перестреливались без крайней нужды».

Обстоятельства вынуждали этих людей ежедневно рисковать жизнью: в атаку ходили в полный рост, кланяться пулям считалось делом позорным. В результате героизм становилось вещью обыденной, и требовалось придумать нечто большее, как-то развлечь себя: в Испании, например, английские офицеры ходили в атаку с зонтиком в руках и с сигарой – пока Веллингтон не запретил это. Офицеры разных армий под огнем нередко садились играть в карты. Каждая минута без риска тягостно томила этих людей. Генрих Росс в своих воспоминаниях о 1812 году записал: «Во время остановки и взаимного обозрения какой-то казачий офицер подмигнул одному из наших, лейтенанту фон Менцингсену. Наш выступил подошел и тот. Долго оба гонялись друг за другом в пространстве между обоими фронтами. Все взоры были обращены на них: оба ревностно действовали саблями, но ни один не мог даже задеть другого, ибо оба умели ловко парировать удар противника. Наконец, утомившись от бесплодного и бескровного боя, оба вернулись на свое место, и это зрелище так и осталось веселым приключением».

Во время пребывания Наполеона в Москве князь Гагарин поспорил (тогда говорили – «побился об заклад») с приятелями, что доставит Наполеону два фунта чая. Надо полагать, вся компания была изрядно пьяна. Однако даже когда все начали трезветь, было уже поздно – в те времена такие вещи в шутки не обращались. Каким-то чудом Гагарин через аванпосты проехал в Москву, и даже достиг Наполеона, которому, видимо, хотелось хоть какого-то разнообразия. Гагарин потом излагал его диалог с Бонапартом так:

«– Какое у вас ко мне дело? – спросил Наполеон.

– Я поспорил с целым обществом, что ваше величество не откажется отведать нашего московского чая, представляющего из себя для Москвы национальный напиток.

– И только затем вы ко мне явились? – спросил Наполеон, не сдерживая насмешливой улыбки.

– О, нет! Кстати, хотел на деле убедиться, так ли французы гостеприимны и галантны, как о них рассказывают.

– Французы снисходительны и любезны! – проговорил Наполеон и приказал окружающим его пропустить князя Гагарина обратно в русский лагерь».

Пари было выиграно, а Гагарин прославился на всю жизнь – еще в конце XIX века ему, постаревшему и за хуждбу прозванному «адамовой головой», вспоминали эту историю.

6.

Наполеон был бессмертен, но это было еще не все. Он брал с собой в бессмертие и друзей, и врагов – и за это люди того времени готовы были простить ему даже собственную смерть. **«Опьяненные сражением, солдаты не боялись смерти, которая могла стать вечным раем славы», – записал современник. Слава была синонимом бессмертия. И ведь не подвел расчет – тысячи из них остались в истории!** «Я желаю многим молодым людям пережить подобный радостный день!» – записал в 1855 году наполеоновский офицер Анджей Неголевский, вспоминая бой в ущелье Сомосьерра, где 150 польских кавалеристов атаковали испанские позиции. Надо было скакать вверх по горной дороге, на каждом повороте которой испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трех стояло по две пушки, на последнем, четвертом – десять. С криками «Нех жие цезар!» (польский перевод французского «Да здравствует император!») поляки бросились навстречу смерти. С каждым новым поворотом дороги их становилось все меньше. До четвертой батареи досказал замыкающий взвод колонны, которым командовал лейтенант Неголевский. Тут под ним убило лошадь, а упавшего Неголевского испанцы принялись колоть штыками – он получил одиннадцать ран. Весь в крови, Неголевский лежал возле захваченных поляками пушек, когда Наполеон, осматривавший позицию, отдал ему свой крест Почетного легиона. И ведь,

наверное, не придумал Неголевский свою «радость» - должно быть, даже в горячке боли от всех своих ран, он ощущал некое «счастье».

Барон де Марбо описывает, как в бою под Эйлау русский пехотинец пытался попасть в него штыком: «Он пробил мне левую руку и я с ужасным удовольствием вдруг почувствовал, как из нее потекла горячая кровь»... Ужасное удовольствие – в этом, видимо, и был смысл существования миллионов людей, живших тогда на планете Земля, за ним гонялись Наполеон, Кутузов, Беннигсен, Мюрат, Боливар, тысячи других, помельче, и миллионы тех, кого совсем не видать даже в оптические стекла исторических книг и полотен.

Они и правда летели на бой, как на пир. «Наполеон, этот великий знаток людей, – вспоминал Тирион, старший вахмистр одного из кирасирских полков, – внушил войскам, что дни сражения суть большие праздники, и раз навсегда был отдан приказ, чтобы в дни сражений люди были в полной парадной форме». **Война делалась грандиозным спектаклем**, и в нем каждому хотелось рольку, да хорошо бы еще со словами. «Я сыграла небольшую партию в огромном спектакле, который мы дали господам пруссакам на равнинах под Йеной», – пишет Тереза Фигер (драгун Сан-Жен). Поэтизировали даже то, что, казалось, поэтизировать невозможно. «В воскресенье вокруг Прейсиш-Эйлау, под величайший оркестр, состоялся большой и пышный бал. Танцевальная зала была на равнине, покрытой снегом, и замерзших болотах. Снег падал крупными хлопьями, и эти новые цветы немного украшали праздник»... – так француз Виталь Иоахим Шаморен, командир эскадрона конно-гренадерского полка, описал сражение, в котором 160 тысяч русских, пруссаков и французов в течение целого дня, в снегу и метели, убивали друг друга. На этом балу погибло и было ранено около 70 тысяч человек. Из мертвецов потом сложили поленницы и сожгли. Возможно, и на горевшие трупы крупными хлопьями падал снег, но смог ли он хоть немного украсить эту сторону «праздника», неизвестно.

Они много видели смерти, очень много, чересчур много, от этого смотрели на нее как зрители в театре, знающие, что за кулисами актеры оботрут бутафорскую кровь и пойдут ужинать. Врач баварской кавалерии Генрих Росс записал в своих воспоминаниях: «Я видел, как на совсем близком расстоянии (...) пушечное ядро сняло голову французскому инженер-полковнику, так что туловище его еще несколько мгновений продержалось в стоячем положении на лошади, а кровь била кверху, как это бывает обычно при обезглавливании». Вот так, без сантиментов, без нынешних размышлений о том, что жизнь – это целый мир, и даже без мыслей о том, что и ему другое ядро может также оторвать голову.

Александр Чичерин, офицер лейб-гвардии Семеновского полка, в октябре 1812 года записывает в своем дневнике судьбу канарейки: ее, едва не замершую, подкинули к нему в палатку друзья, он ее отогрел, птичка начала уже было летать, но утром Чичерин обнаружил ее мертвой. Он, впрочем, и о ней не больно-то горевал, но все же потратил время, записывая в дневник и пытаясь (правда, безуспешно) придумать по этому поводу мораль. Писать же в дневнике о смертях своих однополчан ему в голову не пришло – дело-то обычное...

Француз Фантен дез Одоар записал, как после битвы под Фридландом убитых, чтобы не хоронить, сбрасывали с обрыва в реку Алле: «В этом занятии, казалось, не было ничего веселого, тем не менее, такова уж легкомысленность солдата, а в особенности французского, что самое неподобающее оживление царило на этих весьма оригинальных похоронах. Дело в том, что трупы, скатываясь с откоса, кувыркались, принимая самые невообразимые позы, что вызывало взрывы всеобщего смеха».

Барон Марбо в 1806 году, увидев в замке Заальфельд тело принца Людвиг, убитого в бою, пишет: «Я не мог не предаться печальным размышлениям о непрочности человеческого существования». Судя по всему, он просто взглянул на покойника, как на достопримечательность, да еще и не без некоторого злорадства – ведь именно в этом замке принц буквально накануне вечером устроил бал, на котором клялся разбить французов.

В Москве князь Шаховской видел оставшиеся от французов трупы их товарищей: «приставленные к печкам и нарумяненные кирпичом». Они спешили посмеяться над смертью, зная, что когда-нибудь она все равно посмеется над ними.

Кроме привычки к смерти была еще и усталость, невероятная усталость. Александр Муравьев пишет о том, как на Бородинском поле по окончании сражения пытался найти брата Михаила, и, дойдя до батареи Раевского, «утомившись до чрезвычайности, лег тут отдохнуть на землю, подле одного раненого, заснул немного, и проснувшись, застал соседа уже мертвым».

В те времена и «сувениры» были соответствующие. Вольдемар Левенштерн записал после Бородинского сражения: «я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана всегда делает честь кавалерийскому офицеру». Барон Марбо при осаде Сарагосы был ранен необычной пулей – очень большого калибра, сплюснутая молотком, на каждой стороне был выгравирован крест. Из-за зазубрин эта пуля была похожа на шестеренку от часов. Император Наполеон отослал пулю, вынутую из груди де Марбо, на память его матери.

Генерал Коновницын после Бородинского сражения отослал домой свой сюртук, у которого пролетевшим ядром оторвало обе полы. Генерал в свои 38 лет совершенно по-мальчишески рассматривал это как «куриоз». Жена Анна Ивановна в ответ писала: «Как все твои люди рыдали, видя твой сюртук»: женщины и тогда были мудрее самых умных мужчин, а мужчины и тогда были как дети. Тот же Коновницын уже при отступлении французов посылал домой детям отбитые у неприятеля пушки: «Петруше посылаю на память, надобно сделать лафет и ее беречь. Другую пушку, маленькую, мне сейчас принесли - посылаю Ване милому».

Место в истории, которое было целью тысяч молодых людей, гарантировал только подвиг – но его нужно было еще «застолбить» за собой. Из-за этого война годами продолжалась на страницах мемуаров. Ермолов, при Прейсиш-Эйлау собравший на русском левом фланге 36 орудий и несколько часов картечью отбивавший французские атаки, был представлен Беннигсеном к Георгиевскому кресту 3-й степени, который, однако, получил Кутайсов, какового по старшинству чина посчитали организатором обороны. «Его одно любопытство привело на мою батарею, и, как я не был в его команде, то он и не мешался в мои распоряжения», – раздраженно пишет Ермолов, заключая: «Вот продолжение тех неприятностей по службе, которыми так часто я наделяем!».

Второй легендарный ермоловский подвиг – отбитую батарею Раевского – оспаривало еще больше народу. Напомню, Ермолов по поручению Барклая ехал на левый фланг. Кутайсов от скуки увязался следом. Они оказались напротив батареи Раевского именно в тот момент, когда ее захватили французы из бригады Бонами. Каким-то чудом остановив разбежавшихся солдат Уфимского полка, Ермолов повел их в атаку. Кем-то командовал Кутайсов. Русские ворвались в укрепление и подняли французов на штыки. «Нужна была дерзость и мое счастье, и я успел», – горделиво писал Ермолов. Он в общем-то имел право на гордость: возможно, эта контратака спасла сражение – прорванный русский центр без сомнения воодушевил бы французов, у которых к тому времени осталось еще достаточно конницы для расширения и углубления прорыва.

Однако как всегда, у победы оказалось много отцов. Адьютант Барклая Вольдемар Левеншерн в своих воспоминаниях описывал все так, будто первым ворвался в захваченный французами люнет он с солдатами Томского полка, а Ермолов и остальные подоспели потом. «В тот момент все признали за мою заслугу, что я увлек всех своим примером. Генерал Ермолов поцеловал меня на самой батарее и тут же поздравил с Георгием, который я несомненно должен был получить. Но впоследствии, когда этот эпизод был признан самым выдающимся событием дня, другие лица пожелали присвоить себе эту честь».

Кроме Левенштерна, батарею Раевского атаковал Иван Паскевич с солдатами своей 26-й пехотной дивизией. Паскевич вскользь упоминает Кутайсова, а про Ермолова молчит. Левеншерн пишет про Ермолова, а Кутайсова не вспоминает (впрочем, он мог его и не видеть). А Ермолов видимо, сразу решив не делиться ни с кем славой, в своем рапорте Барклаю от 20 сентября, забывает и про Кутайсова, и про расцелованного Левенштерна, не говоря уж о Паскевиче.

Еще интереснее, что в одном из вариантов рапорта о сражении («Описание сражения при селе Бородино, происходившего 26 августа 1812 года», «Бородино. Документальная хроника», М. РОССПЭН, 2004, стр. 329) кто-то решил забыть о них всех. В этом «Описании» эпизода первого захвата батареи Раевского просто нет. Автором описания был наверняка Карл Толь. Вряд ли ему хотелось признавать, что почти сразу после начала сражения центр позиции был прорван и один из главных пунктов обороны достался врагу. Алексей Васильев и Лидия Ивченко в своей работе «Девять на двенадцать, или Повесть о том, как некто перевел часовую стрелку (о времени падения Багратионовых флешей)» путем сопоставления мемуаров и документов вычислили, что Бонами со своими солдатами взяли батарею в девять утра. Они же показали, что в это же время французы захватили флешу. То есть, через три часа после начала боя русская армия потеряла почти все. Мог ли Толь позволить себе согласиться с такой картиной боя? Вряд ли – он ведь тоже наверняка хотел орденов. Толь хотел вычеркнуть всех из истории по той же причине, по какой Ермолов и другие хотели себя вписать.

Анекдотическая по всем меркам ситуация и разрешилась в полном соответствии с анекдотом «Пришел лесник и всех нас выгнал»: царь сам решил, у кого какие заслуги. Так, хотя Барклай представил Ермолова за Бородино к Георгию 2-й степени, а Кутузов переименовал это на орден святого Александра Невского, но царь постановил – Анна 1-й степени («награду, получаемую за смотры войск и парады» – с отчаянием восклицает Ермолов в воспоминаниях). Впрочем, и остальным не повезло: Паскевич также получил Анненскую ленту, а Левенштерн уже в июне 1813 года в жалостливом письме к Барклаю напоминал о себе и об обещанном военном ордене Святого Георгия. В послужном списке Левенштерна этот орден 4-й степени есть, но за Бородино ли он получен – неизвестно.

Возможно, этим царь напоминал своим генералом, что Бородино, как ни крути, победой не было. И после него была оставлена Москва.

8.

Офицеров и генералов к наградам представляли после каждой битвы и почти поголовно. Надо было особо «отличиться», чтобы не попасть в наградные списки. За Бородино Кутузов обошел представлениями только Платова и Уварова (одни пишут – из-за того, что рейд казаков во французский тыл не принес ожидаемого эффекта, другие намекают, что в день битвы Платов был мертвецки пьян). Возможно, самой щедростью испрашиваемых наград он хотел показать императору, что битва была славная, почти победа. Император же, снизив многим представленным ранг наград, видимо, хотел напомнить, что «отразив неприятеля на всех пунктах», армия затем отступила и оставила древнюю столицу. Дохтурову, Милорадовичу и Коновницыну царь вместо Георгия 2-й степени расписал, например, первым двоим – алмазные знаки Александра Невского, а Коновницыну шпагу с алмазами.

«За так» монархи награждали разве только чтобы сделать друг другу любезность. Так в Тильзите Наполеон наградил крестом Почетного легиона рядового лейб-гвардии Преображенского полка Алексея Лазарева. Ему также полагался легионерский пенсioen – тысяча франков в месяц. История Лазарева грустная. Как кавалера, Лазарева приглашал на свои приемы французский посол в Петербурге Коленкур. Правда, в 1809 году по повелению цесаревича Константина французский орден у Лазарева отобрали. Историк Андрей Юрганов в своей работе «Дело» Алексея Лазарева» называет причину: Лазарев за некие «дерзкие поступки» был разжалован в рядовые и переведен из гвардии в пехоту. Потом он снова был переведен в гвардию и даже выслужил чин прапорщика, но в 1819 году попал за драку под суд, ждал окончания следствия под арестом несколько лет с перерывами, и в конце концов в апреле 1825 года застрелился. Повлияла ли на характер Лазарева отобранная награда французского императора – кто знает?

В любом случае, чтобы получить боевой орден, надо было быть на войне. Граф Евграф Комаровский, с началом войны сопровождавший Александра Первого, по его поручению отправился собирать для армии лошадей в Подольской и Волынской губерниях. Граф собрал 13 тысяч лошадей – видимо, благодаря ему у России была в Заграничном походе кавалерия. Однако никаких наград за 1812 год Комаровский не получил. В воспоминаниях он записал: «Однажды, будучи наедине с государем, я дал почувствовать его величеству, как много я потерял по службе тем, что не находился в армии, что не могу даже участвовать в празднествах, учрежденных для воспоминания незабвенных военных подвигов нашей армии, каковы суть Лейпцигская баталия, вход в Париж и проч., и лишен права носить медаль 1812 года, которою украшены почти все, имеющие военный мундир. На сие император мне отвечал: «Что делать; это зависит от обстоятельства, но ты себя ничем упрекнуть не можешь»... (Правда, потом, в 1819 году Комаровский получил Георгий 4-й степени).

Герои-генералы относились к награждениям по-детски ревниво. Раевский был представлен Багратионом за Салтановку к ордену Александра Невского, за Смоленск к Георгию 2-й степени, Кутузовым за Бородино снова к Георгию 2-й степени, а за Шевардино – к брильянтовым знакам, которые давались к орденам Александра Невского или Анны первой степени. Но уже из Тарутино генерал жаловался в письме к другу, что до сих пор из этого золотого дождя на него не пролилось ни капли.

В декабре, уже после изгнания французов, Раевский пишет жене из Вильно: «Кутузов, князь Смоленский, грубо солгал о наших последних делах. Он приписал их себе и получил Георгиевскую ленту (первую степень ордена - прим. С.Т.). Тормасов – Св. Андрея, Милорадович – Св. Георгий второй степени и высшую степень Владимира, а я, который больше всех, чтобы не сказать один, трудился, должен дожидаться хоть какой-нибудь награды!» В конце концов, только в 1813 году Раевский получил за Бородино орден Александра Невского и брильянтовые знаки к нему, а Георгия 2-й степени получил только под занавес войны – за Париж (крестом 3-й степени он был награжден за Малоярославец).

Такое отношение к наградам вызвано соображениями житейского расчета: большинство офицеров и генералов свои ордена почти сразу продавали. Тот же Раевский, дождавшись, наконец, ордена Александра Невского, пишет: «это десять тысяч рублей для дочери, я ей сделаю подарок». А в следующем письме к жене говорит, что сын Александр «умолил меня позволить ему продать его золотую шпагу» (Александр из своей награды за бой под Красным хотел сделать подарок сестре Екатерине). «С моими брильянтами от Св. Александра мы сделаем несколько милых вещей для нашей дорогой дочери», – пишет Раевский.

Герои войны по большей части были небогаты и стремились конвертировать славу в деньги разными способами. Так, генерал Михаил Милорадович добивался расположения графини Орловой-Чесменской, обладательницы несметных миллионов отца.

Денис Давыдов юмористически описывал пребывание Милорадовича в Гродно осенью 1812 года при изгнании французов: «Он в то время получил письмо с драгоценною саблею от графини Орловой-

Чесменской. Письмо это заключало в себе выражения, дававшие ему надежду на руку сей первой богачки государства. Милорадович запылал восторгом необоримой страсти! Он не находил слов к изъяснению благодарности своей и целые дни писал ей ответы, и целые стопы покрыл своими иероглифами; и каждое письмо, вчерне им написанное, было смешнее и смешнее, глупее и глупее! Никому не позволено было входить в кабинет его, кроме Киселева, его адъютанта, меня и взятого в плен доктора Бартеlemi. Мы одни были его советниками: Киселев – как умный человек большого света, я – как литератор, Бартеlemi – как француз, ибо письмо сочиняемо было на французском языке. Давний приятель Милорадовича, генерал-майор Пассек, жаловался на него всякому, подходившему к неумолимой двери, где, как лягавая собака, он избрал логовище. Комендант города и чиновники корпуса также подходили к оной по несколько раз в сутки и уходили домой, не получа никакого ответа, от чего как корпусное, так и городское управление пресеклось, гошпиталь обратился в кладбище, полные хлебом, сукном и кожами магазины упразднились наехавшими в Гродну комиссариатскими чиновниками, поляки стали явно обижать русских на улицах и в домах своих, словом, беспорядок дошел до верхней степени. Наконец Милорадович подписал свою эпистола, отверз милосердые двери, и все в оные бросились... но – увы! – кабинет был уже пуст: великий полководец ускользнул в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку»...

Подвиги вообще имели неплохую покупательную способность. Генерал Коновницын в 1813 году, узнав, что дочь Лиза очень хочет стать фрейлиной, писал жене: «а Лизе вензель выслужу, (...) пойду в Данциге на батарею»... То есть, чтобы заслужить для дочки придворное звание, отец брался штурмовать крепостные укрепления Данцига (нынешний польский город Гданьск).

Барон де Марбо вспоминал, как его знакомый Лефрансуа «накануне показал мне письмо, в котором любимая им женщина объявляла, что ее отец будет согласен на их брак, как только он получит чин майора (подполковника). Чтобы получить это звание, Лефрансуа вызвался вести войска на штурм (монастыря святого Франциска при осаде Сьюдад-Родриго – прим. авт.). Атака была мощной, оборона упорной. После трехчасового боя наши войска овладели монастырем, но бедный Лефрансуа был убит!»...

Иногда подвиги имели объявленную цену. Когда весной 1811 года Мармон отбывал в Испанию, Наполеон сказал ему: «В Испании вы будете хорошо вознаграждены. После завоевания полуостров должен быть разделен на пять государств, управляемых вице-королями с их дворами и всеми королевскими почестями; одно из этих вице-королевств предназначено для вас: идите и заслужите это». Мармон пошел, но не заслужил.

Кстати, генералы обращались к царю с самыми разными просьбами. Например, Михаил Илларионович Кутузов, желая сделать приятное своей жене, во время похода 1813 года по Германии просил у императора Александра разрешения возобновить постановку французских пьес в Петербурге. 19 февраля первый такой спектакль состоялся в доме А.Л. Нарышкина. Княгиня Смоленская при этом сказала: «Я, правда, не меньшая патриотка как всякий, но чтоб французский театр мешал любить свое отечество, я этого не понимаю; Слава Богу, по крайней мере, мы не будем сидеть с мужиками!».

9.

Наполеоновские времена стали апогеем эпохи, когда люди жили для того, чтобы хоть чуть-чуть как-то повернуть колесо истории – и одновременно ее закатом. Самым большим потрясением для всех – и побежденных, и, главное, победителей – оказалось то, что мир после этих удивительных, невообразимых 15 наполеоновских лет, вдруг, словно кошка, встал на четыре лапы.

Война кончилась, но наступившая эпоха спокойствия удивительным образом не принесла удовлетворения, наоборот, она вызывали реакцию отторжения у этих людей, которые в течение полутора десятилетий годами не вылезали из седла. Пишут, что, например, Остерман-Толстой, уехавший при Николае Первом в Европу, устроил у себя в доме алтарь, посвященный Александру Первому: портреты, бюст императора, медали. (В памятные дни в комнате курился фимиам из-за чего во время путешествия по Востоку местные жители посчитали Остермана последователем какого-то неизвестного культа). В Ливане Остерман велел высечь в мраморе свои суждения о правлении Александра I и о двадцатипятилетнем «*Felicitas Trajana*» счастливым правлении и прикрепить эту мемориальную доску к ветвям дерева в знаменитой кедровой роще. «Он просто в отношении к России заживо замер и похоронил себя в дне 19 ноября 1825 года», – писал мемуарист. Когда Николай Первый пригласил Остермана на празднование юбилея Кульмской битвы, генерал не поехал. О чем было разговаривать с пигмеями ему, видевшему великанов?! Николай Первый понял это и не обиделся – даже прислал Остерману знаки ордена святого Андрея Первозванного. Пакет с орденом остался нераспечатанным до самой смерти генерала.

А ведь было еще немало количество тех, кому не хватило войны. Декабристы в России, которых при советской власти расценивали как предтечу социалистической революции, на самом деле скорее всего просто пытались догнать уходящий поезд. Сенатская площадь была для них Тулоном, который в каждой

перестрелке ищет князь Андрей у Толстого. «В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно, – писал декабрист Иван Якушкин. – В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события и некоторым образом участвовали в них (Якушкин в лейб-гвардии Семеновском полку прошел Отечественную войну и Заграничный поход, был награжден орденом святого Георгия 4-й степени и Кульмским крестом – прим. С.Т.); теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь». Часть декабристов в наполеоновские годы была слишком молода и не успела блеснуть, часть блеснула, но считала, что заслужила больше, чем получила. «Мы умрем! Как славно мы умрем!» – вскричал декабрист Александр Одоевский, узнав, что восстание все же будет. В 1812 году ему было 10 лет.

Есть знаменитая формула Герцена: о том, что декабристы хотели сделать революцию «для народа, но без народа». Она красивая, и очень хорошо заслоняет то, что декабристы о народе в общем-то почти не думали. Пункт об отмене крепостного права, содержащийся во всех их программных документах – это по тем временам уже давно было общее место. При этом, куда более важный вопрос о наделении крестьян землей во всех трех программных документах декабристов рассматривается крайне робко. Конституция Никиты Муравьева предусматривала выделения крестьянам двух десятин земли – тогда как крестьянину для прокорма требовалось четыре. Пестель в «Русской правде» делил всю землю на две части: одну, побольше, оставлял помещикам, другую, поменьше – крестьянской общине.

Делать из крестьян индивидуальных собственников – это Пестелю даже в голову не приходило: «Еще хуже – отдать землю крестьянам. Здесь речь идет (...) о капитале и просвещении, а крестьяне не имеют ни того, ни другого». В «Манифесте к русскому народу» Сергея Трубецкого о земле и вовсе не говорилось. Иван Якушкин, решив для последовательности освободить своих крестьян, землю все же собирался оставить себе. Якушкина не поняли не только крестьяне. Из министерства внутренних дел пришел ему ответ: «если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». (Обязанности и правда были: например, в неурожайный год помещик обязан был кормить крестьян за свой счет). Так что Герцен скорее всего не прав в обоих пунктах: декабристы хотели сделать революцию не только «без народа», но и не «для народа», а для самих себя.

Они потому и не пошли в атаку утром 14 декабря, когда у них все еще могло получиться, что по их меркам у них и так уже все получилось: славная смерть – вот и все, что им нужно было от жизни. Вполне вероятно, Николай Первый разгадал их – и казнил только пятерых, обрекши остальных на наказание мучительной и, скажем прямо, довольно бесславной жизнью.

Наполеон показал, что можно перевернуть мир. И он же показал, что мир на самом деле не переворачивается. Война кончилась, и все, кто 15 лет ездил на войну, как на работу, вдруг увидели, что ничего не изменилось.

К тому же и слава из-за ее перепроизводства не принесла тех дивидендов, на которые люди могли рассчитывать – подвиги обесценились. Наполеон опустошил не только материальный мир государств, но и внутренний духовный мир людей: после него в мире стало пусто и скучно.

Разочарование было массовым. На фоне минувшей эпохи все мужчины казались карликами. Лермонтов, описывая Печорина, дал портрет одного из детей 1812 года, который ищет и не находит смысл жизни. Печорин бросается под пули, но это не разогревает его кровь и никуда не продвигает его философию: «Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!» – мысль и в те времена давно весьма банальная. Потом Печорин пытается влюбиться в княжну Мэри – но, оказывается, он не умеет любить: не учили. (Любовь в ее нынешнем понимании тогда была редкость – у мужчин на нее в общем-то никогда не хватало времени, браки устраивали родители жениха и невесты, «дети» же почти всегда принимали родительский выбор). Сам Лермонтов был таким же: его не учили любить (кстати, рисуя линию Печорин-Вера, Лермонтов пытается хотя бы в повести довести до желаемого конца свой роман с Варварой Лопухиной, с которой был помолвлен, но разлучен, и вышла замуж она за богатого помещика Николая Бахметева старшего на 17 лет). Всякая война проигрывала 12-му году в сравнении. Валерик был, конечно, жестокой битвой (русские и чеченцы три часа рубились саблями, Лермонтов писал, что «даже два часа спустя в овраге пахло кровью»), но он не мог даже сравниться с самой мелкой арьергардной стычкой Отечественной войны.

Видимо, подобное же чувство было у Толстого, поехавшего в 1854 году в Севастополь. Он забрался на самый гибельный 4-й бастион (в некоторые дни на бастион падало до двух тысяч неприятельских снарядов) и писал оттуда брату Сергею: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска вместо «здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать ребята, умрете?» и войска отвечали: «Умрем, Ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а ВЗАПРАВДУ, и уже 2200 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для

солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время!.. Чудное время!

Однако Севастополь не заслони́л Отечественную войну – тем более, ведь не победили мы. Вместо славы война принесла разочарование и стыд. «Для чего жить?!» – об этом размышляет Андрей Болконский, вернувшийся домой после Аустерлица, другого постыдного поражения России – возможно, Толстой записал свое настроение после окончания Крымской войны.

В знаменитом эпизоде с дубом князь Андрей сначала решает, что его время прошло («пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!»), а потом, увидев, что дуб выбросил молодую листву, он вдруг понимает, что жизнь не кончилась. Правда, определенности в этом решении немного («надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»), однако заметнее всего вот что: «Тулону», поиском которого задавался князь Андрей в 1805 году, теперь нет. Он перестал искать подвигов – он решил просто жить, просто жить для себя! Правда, сам князь Андрей пожить для себя не успел. А вот Безухов и вышедшая за него Наташа как раз являются примером этой идеи: они просто живут для себя. Не для мира и не для истории, не для Бога, а для себя. Делают детей, стирают пеленки.

Марк Алданов в работе «Загадка Толстого» отмечает, что писатель в «Войне и мире» на примере Болконских и Ростовых пытался понять, какая жизнь лучше – духовная или материальная? Алданов отмечает, что Болконские, в семье которых идет «напряженная духовная работа», все несчастны. Ростовы же, у которых «никто никогда не мыслит, там даже и думают только время от времени», наоборот – «блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты».

Вторая идея Толстого – исторический фатализм: все будет как будет. У него и Наполеон бессилён. Толстой низвел смысл жизни человека до смысла жизни муравья. Но все ему поверили, потому что жить для себя казалось так здорово. Но если для себя, то надо устроиться поудобнее. А поудобнее – это значит минимум детей, минимум волнений, минимум усилий. Нынешняя европейская цивилизация ленива, труслива и почти не делает детей.

В противоположность ей мусульманский мир, где произведения Толстого не прижились, работает не покладая рук, готов умереть за идею в любой удобный момент и плодится без остановки. Обвязывая себя поясом шахида, мусульманин идет, чтобы чуть-чуть крутнуть колесо истории. Чтобы совершить подвиг, и остаться в веках навсегда.

Победа, впрочем, пиррова: справившись с Европой, победители возьмутся друг за друга. Да и уже взялись. Возможно, спустя много лет победитель, оставшись один среди разоренного мира, оглянется и скажет, как Наполеон в повести Марка Алданова «Святая Елена, Маленький остров»: «Если Господу Богу угодно было лично заниматься моей жизнью, то что он всем этим хотел сказать?». Только такие вопросы лучше бы задавать пораньше – они спасают много человеческих жизней.

